

О СТИХОТВОРЕНИЯХ г. БАРАТЫНСКОГО

Часто думаю я о том, какое резкое отличие находится между поэзией первобытных народов и поэзией новых народов, которых религия, цивилизация, просвещение и литература образовались под разными чуждыми влияниями. Представьте себе народ, у которого еще нет ни идеи творчества, ни слова для выражения этой идеи, а есть уже само творчество. Кто открыл ему эту тайну, кто навел его на эту мысль? Одна природа и больше никто. Самое просвещение, в этом случае, дело совершенно постороннее, ибо оно только сообщает поэзии другой характер. И это очень естественно: чем бессознательнее творчество, тем оно глубже и истиннее. Поэт, который творил, не сознавая своего действия, не понимая, что он делает, — он более поэт, нежели тот, который, чувствуя вдохновение, говорит: «Хочу писать». Кто слагал наши народные песни? люди, которые даже и не подозревали, что есть поэзия, есть вдохновение, есть поэты, есть литература. Как слагали они свои песни? экспромтом, за пиршественною чашею, среди ликующего круга, или, всего чаще, в минуты тоски и уныния, когда душа просилась вон и хотела излиться или в слезах, или в звуках. Как смотрели эти гениальные люди на свои произведения? как на дело пустое, и, может быть, когда проходили обстоятельства, породившие их песню, когда стихали чувства и уступали полное владычество рассудку, они удивлялись, как пришла им в голову странная мысль заниматься таким вздором, и стыдились своей песни, как стыдится протрезвившийся человек дурного или смешного поступка, сделанного им в пьяном виде. Я часто мечтал об одном создании, идеал которого смутно носился в душе моей и который мне очень хотелось увидеть когда-нибудь осуществленным: мне хотелось прочесть роман или драму, в которой бы содержание было взято из русской жизни, до Петра Великого, и в которой была бы

представлена борьба гения с своими порывами, для него непонятными. В самом деле, неужели в этом народе, сознававшем себя несколько столетий и занимавшем такое обширное пространство, не было своих Шекспиров, Шиллеров!.. Итак, представьте себе народ, у которого было поэтическое чувство, но которого условия жизни были совершенно противоположны поэзии жизни; которого религия покровительствовала искусству и требовала от него служения, но который в религии довольствовался одними формами, а искусство сделал ремеслом определенным и положительным, так что гений и посредственность были в нем подведены под уровень; народ, который любил временем и спеть песню и поплясать в присядку, но который, в то же время, и пение и пляску почитал бесовскою потехою, грехом тяжким; народ, который довольствовался скудной житейскою философиею, лениво наследованною им от праотцев и заключенною в формы пословиц и поговорок; народ, который святое чувство любви почитал дьявольским наваждением, отчитывался от него молитвами, отпрыскивался нашопанною водою; народ, который женщину — эту поэзию жизни, которою одною бывает жизнь красна, женщину сделал своей рабынею, родом домашнего животного, немного выше коровы или лошади; наконец, народ, который был чужд всякого движения вперед, всякого стремления к совершенствованию, был похож на обледелую массу воды, по которой тщетно скользят бледные лучи зимнего солнца. Теперь, среди этого народа, представьте себе юношу-гения: какой контраст, какие подробности, сколько красок, какая драма, высокая и ужасная в своей простоте и карикатурности!.. Этот юноша есть единственная опора, единственная надежда престарелой матери. Какой-нибудь добрый монах учит его грамоте, чтоб он мог со временем сделаться писцом в приказе, дьяком или земскою ярыжкою. Это все одно и то же, ибо одинаково прибыльно, а русский народ смотрел всегда на судопроизводство, как на средство жить; наши мужички и теперь еще не шутя говорят: *«Он на то и алистратор, чтоб взятки брать»*. Итак, юноше готовится блестящая будущность; надо, чтоб он умел воспользоваться ею. Но вот беда: юноша болен странным недугом; ему снятся наяву дивные сны, слышатся чудные звуки, ему хочется, и сам он не знает чего; он забывает свое дело и, как одержанный бесом, то плачет, то хохочет, сам не зная, отчего. Мать плачет о нем, как о потерянном, взбалмошном, помешанном; добрые люди, говоря о нем, пожимают плечами и набожно произносят: господи, спаси нас от лукавого! Все это очень обыкновенно, но вот что не совсем обыкновенно: он сам уверен, что он одержим злым духом, постигнут черным недугом, что его мысли грешны, желания и помыслы нечисты. Он молит бога, чтобы он избавил его от злого беса, который его мучит и преследует, чтобы он направил его на путь истин-

ный; он плачет и раскаивается, и все остается таким же чудным и не похожим на добрых людей. Не правда ли, что это прекрасный предмет для драмы, не правда ли, что такая драма, плод гения, в тысячу бы раз лучше и яснее всех курсов и теорий эстетики объяснила дивную и великую тайну, которая здесь, на земле, называется поэтом, художником?..

История первобытной греческой поэзии достойна глубочайшего изучения. Сравните с нею историю первобытной индийской, арабской поэзии — и сколько драгоценных фактов получите вы для теории изящного. В самом деле, поэт, который сочиняет, не зная, что такое поэзия, что такое поэт, не зная, чтобы когда-нибудь и кто-нибудь, подобно ему, сочинял, который сочиняет по непреодолимому побуждению, которого не умеет ни понять, ни назвать, не есть ли он поэт по преимуществу? И такие поэты бывают только у народов младенчествующих, и их имена или исчезают для потомства, или передаются ему в мифических образах Гомеров, Оссианов. Создания таких поэтов суть типические, оригинальные и вечные. Они творят роды и формы искусства, ибо по странной ошибке человеческого ума служат образцами для последующих творцов. Они вполне принадлежат своему веку и народу, ибо творят свободно от всякого постороннего влияния. Какое дело, если у индийцев была драма прежде, чем Эсхил явился в Греции... Эсхил все-таки творец греческой трагедии, этого рода, так отличного от новейшей драмы. Тип эпических рапсод, тип эсхильской драмы, есть тип истинный, естественный, законный, если можно так сказать, ибо он найден в природе, а не выдуман. Можно ли усомниться в призвании первобытных поэтов?..

Не так бывает у народов, у которых поэзия является тогда, как им уже известна идея поэзии по опыту первобытных народов. Не самобытны, не оригинальны, не законны роды и формы их созданий. Если они и носят на себе признаки таланта, то похожи на здание, которого план начертан одним художником, а выполнен другим, принадлежащим другому веку и другому народу; похожи на пламенное произведение юноши поэта, написанное на тему, потом переправленное и переделанное взрваром-педагогом. Такова «Энеида» и все поэмы, существующие на свете потому только, что существовала прежде них «Илиада», а не почему иному. У этих народов обыкновенно тот и поэт, кто начал писать прежде других, кто вышел на арену и громко закричал: «Смотрите, я поэт!» И вот причина деспотического владычества Ронсаров, Кантемиров, Тредьяковских, Сумароковых. Но это владычество непродолжительно; оно оканчивается тотчас, как народ начнет понимать истинное значение поэзии. Тогда новое и горе: тогда является множество другого рода незаконных поэтов. Это люди, больше или меньше доступные поэзии, то есть способные понимать ее; часто владеющие талантом формы вместо

таланта творчества, то есть умеющие дать изящную форму всякой мысли, даже пустой. Они обыкновенно угождают, льстят своему времени и посему пользуются успехом только в свое время, тотчас забываемые, как наступит другое время и приведет с собою другие идеи, другие потребности. Хотите ли знать имена таких поэтов? Это Дезульер, Флорианы, Делили, Богдановичи, Капнисты, Гнедичи и пр. и пр.

В деле литературы, у всякого народа бывают свои эпохи очарования и разочарования. Сначала господствует безотчетное удивление; все кажется прекрасным, великим, бессмертным, авторитеты царствуют, как олимпийские боги, и едва соблаговольяют преклонять свой слух к гимнам хвалений. И какой многолюдный Олимп! Если бы он сошел на землю, то неостало бы ни мест, ни материалов для построения ему приличных храмов. Это эпоха веселая, как и все эпохи очарования, но глупая и нелепая, как все эпохи торжества посредственности, самозванства, безвкусыя, унижения искусства, истины, здравого смысла. Погом наступает эпоха разочарования и приводит за собой дух реакции, критики, анализа. Знаменитости подвергаются строгому исследованию; самозванство развенчивается; истинной заслуге отдается должная почесть; Олимп пустеет, но его пустога почтенна, ибо если немногие, зато яркие звезды сияют на его вершине. Есть люди, которые упорно остаются верными своим прежним богам, и, видя разбитые капища, сокрушенных идолов, с воплем и слезами восклицают: «Выдыбай, боже!» Какая причина этого странного упорства? Посредственность и мелочное самолюбие. Эти люди остервеняются не за идолов своих, а за самих себя, ибо в ниспровержении своих идолов видят ниспровержение своих понятий об изящном, упадок своего кредита во вкусе, чувстве, уме, познаниях. Жалкая и между тем вредная братия! Чтобы любить истину, должно жертвовать ей своими задушевыми мыслями, привычками, предубеждениями. А легко ли это? Из одного и того же источника часто выходят различные результаты. Один так любит искусство, что посвящает всю жизнь свою на служение ему в качестве действующателя, не думая о том, что у него нет таланта и что он своею деятельностью оскорбляет святость и великость этого искусства, которому хочет служить; это любовь нечистая: к ней примешано много эгоизма, мелочного самолюбия. Другой так любит искусство, что, начавши писать по увлечению и приобрев лестные успехи, но видя, что его произведения, которым рукоплещет толпа, далеко не соответствуют тому идеалу поэзии, который он создал себе, останавливается в начале поприща, успешно начатого, с стесненным сердцем рвет и попирает ногами свои вялые лавры и решается никогда не оскорблять святости и великости искусства, которое обожает. Вот это любовь к искусству, лю-

бовь высокая, благородная! И может ли такой человек хладнокровно видеть, как жалкая посредственность или низкая злонамеренность профанирует святость и великость боготворимого им искусства, профанирует своим удивлением к блестящему ничтожеству, или своими кривыми толками об изящном, или уродливыми созданиями — батардами ¹³⁸ искусства, выдаваемыми им за создания творчества?.. Может ли он не подать голоса, остаться немым, страшась преследований раздраженной посредственности или боясь имени «ругателя»?

В нашей литературе теперь именно наступила эта эпоха анализа. Мы, наконец, хотим владеть сокровищем немногим, но истинным. А что то за сокровище, которое беспрестанно боишься потерять? Что тот за авторитет, который каждую минуту готов пасть? Что та за истина, которая боится исследования, темнеет от взоров ума? Нет, пусть будет воздаваемо каждому должное, пусть заслуга пользуется уважением, а бездарность обличится и всякий займет *свое* место! Неужели наши мелкие расчеты, наше жалкое самолюбие, наши ничтожные отношения дороже и важнее истины, общественного вкуса, общественной любви к искусству, общественных понятий об изящном. Неужели мы всегда будем ездить верхом на палочках? неужели наша литература всегда будет представляться в форме Ивана Ивановича Перерепенко, который, съевши дыню, завертывал в бумажку зерна и своей рукой подписывал: «Съедена тогда-то»?.. Надо направлять общественный вкус и понятия об изящном, распространять общественную склонность к изящному. Мы уже теперь не ослепляемся знаменитостию рода, незаслуженными отличиями: зачем еще будем мы ослепляться знаменитостию литературных имен, незаслуженными авторитетами? Имя — ничего; важно дело.

Приступая к оценке стихотворений г. Баратынского, я не без намерения сделал такое обширное вступление. У нас еще так много людей, которые, зная, что *говорить правду — потерять дружбу*, что хвалить гораздо выгоднее, чем хулить, почитают говорящих правду людьми беспокойными и злонамеренными; так же точно, как у нас еще много людей, которые почитают злонамеренностию и безнравственностию восставать громко против взяточничества, ибо у нас еще и теперь многие думают, что никто не имеет права мешать другому наживаться, а, по их мнению, всякое средство к наживе позволительно. Неужели и в литературе должно находиться такое же *подьячество* мнений?..

Я не буду слишком распространяться в разборе стихотворений г. Баратынского; вопрос не обширный и притом очень ясный.

Г. Баратынский поэт ли? Если поэт, какое влияние имели на нашу литературу его сочинения? какой новый элемент внесли они в нее? какой их отличительный характер? Наконец, какое место занимают они в нашей литературе?

Несколько раз перечитывал я стихотворения г. Баратынского и вполне убедился, что поэзия только изредка и слабыми искорками блестит в них. Основной и главный элемент их составляет ум, изредка задумчиво рассуждающий о высоких человеческих предметах, почти всегда слегка скользящий по ним, но всего чаще рассыпающийся каламбурами и блещущий остротами. Следующее стихотворение, взятое на выдержку, всего лучше характеризует светскую, паркетную музу г. Баратынского.

Нет, обманула вас молва,
Попрежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратил^я с годами.
Другим курил я фимиа^м,
Но вас носил в святыне сердца,
*Молился новым образом,
Но с беспокойством староверца.*

Скажите, бога ради, неужели это чувство, фантазия, а не игра ума? И перечтите все стихотворения г. Баратынского: что вы увидите в каждом из лучших? Два-три поэтические стиха, вылившиеся из сердца; потом риторику, потом несколько прозаических стихов; но везде ум, везде литературную ловкость, умение, навык, щегольскую отделку и больше ничего. Читая эти два тома, вы видите, что они написаны человеком, для которого жизнь была не сном, который мыслил, чувствовал, которого занимали и интересовали предметы человеческого уважения, но ни одно из них не западет вам в душу, не взволнует ее могущею мыслию, могущим чувством, не истомит ее сладкою тоскою и не наполнит тревожным упоением, от которого занимается дух и по телу пробегает электрический холод. Я не хочу сравнивать, в этом отношении, г. Баратынского с Пушкиным; такое сравнение было бы недобросовестно. Возьмем параллель пониже, возьмем г. Козлова и противопоставим его г. Баратынскому — то ли это? Г. Козлов — поэт не гениальный, поэт обыкновенный, но вот что значит быть истинным поэтом в какой бы то ни было степени! Можете ли вы читать без упоения его дивную, роскошную, таинственную, благоухающую и блестящую «Венецианскую ночь» и многие другие мелкие стихотворения; не пробуждают ли всей вашей души многие места из его «Чернеца» и не вызывают ли они всех ваших задушевных дум, не откликаетесь ли вы на них своим чувством? Есть и у г. Баратынского несколько замечательных стихотворений, как то: «Элегия на смерть Гёте», «О счастье с младенчества тоскуя», «Дало две доли провидение», «Когда печалью вдохновенный», «Бежит неверное здоровье», «Не ищай меня без нужды», «Притворной нежности не требуй от меня», «Череп», «Последняя смерть», но одни из них хороши

по мысли, но холодны, а все вообще оставляют в душе такое же слабое впечатление, как дуновение уст на стекле зеркала: оно легко и скоропреходяще. В наше время, холодное, прозаическое время, надо в поэзии огня да огня: иначе нас трудно разогреть.

В числе необходимых условий, составляющих истинного поэта, должна непременно быть современность. Поэт больше, нежели кто-нибудь, должен быть сыном своего времени. Скажите, бога ради, может ли *поэт* нашего времени написать два длинных, вялых, прозаических послания, каковы к Богдановичу и Гнедичу, в которых самый механизм стихов скрипит, как тяжелые ворота на верях, и в которых нет не только ни искры чувства, но даже и порядочной мысли? Может ли *поэт* нашего времени написать, а если уже имел несчастье написать, то поместить в полном собрании своих сочинений, например, вот такое стихотвореньице:

Не знаю, милая. Не знаю!
Краса пленительна твоя:
Не знаю, я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я?

Чем это сентиментальное стихотворение лучше «Триолета Лилете», написанного Карамзиным?..

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мне, итти ли прочь,
Меж нами долго шли советы.

Но в чашу светлого вина
Налив с улыбкою лукавой,
Послушай, молвила она,
Вино советник самый здравый.

Я пил; на что ж решился я
Благим внушеньем полной чаши?
Побрел по слякоти, друзья,
И до зари сидел у Паши.

И это поэзия?.. И это хотят нас заставить читать, нас, которые знают наизусть стихи Пушкина?.. И говорят еще иные, что XVIII век кончился!..

Она придет? к ее устам
Прижмусь устами я моим;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
*Мы ими счастью вредим
И сокращаем наслажденье.*

Не правда ли, что два последние стиха похожи на заключенные хрии?

Тебе я младость шаловливу,
О сын Венеры! посвятил;
Меня ты плохо наградил,
Дал мало сердцу на разживу!
Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню не тоскую?
Два, три, четыре поцелуй!..
Быть так; спасибо и за то.

Но зачем же вы выбираете такие стихотворения? может быть, спросит меня иной недоверчивый читатель. Зачем же помещены они? отвечаю я. В наше время поэты должны быть осторожны и не представлять из себя Далай Ламу...

О поэмах г. Баратынского я ничего не хочу говорить: их давно никто не читает. Нападать на них было бы грешно, защищать странно. Однако замечу мимоходом, что в «Пирах» блестят местами искры остроумия и даже изредка чувства, как, например, в этих стихах:

Кричали вы, смелее пей!
Развеселись, товарищ милой,
Вздохнув, рассеяно-попугайный ¹³⁹,
Я пил с улыбкой равнодушной;
Светлела мрачная мечта,
Толпой скрывались печали,
И задрожавшие уста,
«Бог с ней» невнятно лепетали.

И где изменщица любовь!
Ах, в ней и грусть очарованье!
Я испытать желал бы вновь
Ее знакомое страданье!
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!
Разлучены судьбою строгой:
И каждый с ропотом вздохнул
И брату руку протянул
И вдаль побрел своей дорогой;
И каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь былое пролетает
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминает!

Предоставляю читателю вывести результат из всего, что я сказал.

О СТИХОТВОРЕНИЯХ г. БАРАТЫНСКОГО

«Телескоп», 1835, ч. XXVII, № 9, стр. 123—137 (ценз. разр. 1 октября). Подпись: В. Белинский.

Более развернутую характеристику Баратынского Белинский дал в 1842 году. Но и в этой сравнительно беглой характеристике налицо все основные элементы его позднейшей статьи. Может показаться, что Белинский несправедлив по отношению к одному из крупнейших представителей «пушкинской плеяды». Действительно, роль поэзии Баратынского в истории русской литературы была более значительной, чем об этом пишет Белинский. Связь Баратынского с пушкинской традицией была весьма ощутительна. Белинский, однако, ее начисто отрицает. Особенности поэзии Баратынского — рефлексия, «игра ума», «все мысль да мысль» — были новыми и оригинальными элементами, в которых не трудно увидеть некоторые черты будущей поэзии Лермонтова.

Тем не менее Белинский не находил в поэзии Баратынского живой связи с современностью, которой он требовал от всякого поэта. Видимо, немалое значение имело то обстоятельство, что как раз в это время Баратынский сотрудничал в шевыревском «Московском наблюдателе», с которым вел войну Белинский. Общий субъективный эгегический тон поэзии Баратынского также не мог импонировать Белинскому. Рефлексию и духовное раздвоение Баратынского он воспринял как капитуляцию перед «железной» поступью современного века. Последующая поэтическая практика Баратынского подтвердила мнение Белинского.

¹³⁸ (Стр. 152). Батард — незаконнорожденный.

¹³⁹ (Стр. 155). Из поэмы Баратынского «Пир». Белинский пропустил одну строчку, следует:

Развеселись, товарищ милой,
Для нас живи, забудь о ней,
Вздыхнув рассеянно-послушный...

(Баратынский, «Стихотворения». 1835, ч. II, стр. 41).